

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

“ТЫ, ЖГУЧИЙ ОТПРЫСК АВВАКУМА...”

Глава 27.

“Ты Рассея, Рассея-тёща...”

В первых числах ноября Есенин появился в Ленинграде – второпях, как будто на что-то надеялся, как будто чего-то ждал от этой поездки... У него в голове был заново переписанный, но ещё не отделанный до конца “Чёрный человек”, которого он читал на встречах с Георгием Устиновым, Ильёй Садофьевым, Николаем Никитиным... Навестил и Клюева, прочёл поэму и ему.

“Одна шукура от человека осталась”, – так потом вспомнил Клюев эту встречу.

Снова Есенин не нашёл понимания у старшего собрата. А уже в Москве, после больницы, где скрывался от милиции, от грядущего суда по делу об оскорблении дипломатического курьера НКВД – во время последнего посещения Госиздата говорил, что уезжает в Ленинград насовсем, просил выслать туда корректуры грядущего собрания сочинений, сообщал о новых начатых, ещё недописанных произведениях, которые он собирается завершить там, на новом месте жительства... Где это “новое место”? Да у старых друзей. У Валериана Правдухина, у Лидии Сейфуллиной... У Клюева, в конце концов. “Люблю Клюева”, – запомнил есенинские слова Иван Евдокимов.

Приехал, перед этим попросив телеграммой Вольфа Эрлиха найти ему “две или три комнаты”. Тот даже не пошевелился. И по всему выходит, что в “Англетер” Есенин попал благодаря Георгию Устинову, который в эти же дни прикатил в Ленинград и устроил поэта рядом с собой (о номере позаботился заранее).

Ленинград в эти дни трясло, как в лихорадке. “Зиновьевский бастион” бросал открытый вызов Сталину и его команде. Делегации из Москвы с XIV партийного съезда, на котором разгоралась решающая схватка, снова-ли туда-сюда – приезжали и возвращались на очередное заседание... Партийная и комсомольская оппозиция города вместе с редакторами газет и журналов, а также и гепеушниками, вставала на дыбы.

Вот в эти роковые дни и появился в Северной Пальмире Есенин, жаждавший спокойной жизни и плодотворной работы, мечтавший об издании своего журнала, лелеющий в мечтах грядущее собрание сочинений...

Елизавета Устинова потом вспоминала, как на второй день пребывания в “Англетере” Есенин заявился к ним в номер ни свет ни заря – и тут же на-

чал рассказывать о своих первых литературных шагах в Петрограде, с любовью вспоминал Клюева и намеревался немедленно ехать к нему – с трудом уговорили подождать до рассвета... Эрлих, со своей стороны, утверждал, что переночевал у Есенина в номере, а утром услышал от него: “Поедем к Клюеву!.. Ссоримся мы с Клюевым кажинный раз. Люди разные. А не видеть его не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Понимаешь – люблю я его!” И ещё вспоминал, как в один из прошлых приездов Есенин похвалялся перстнем времён царя Алексея Михайловича, который подарил ему Клюев.

Выходит, что утро 25 декабря Есенин провёл то ли в номере у Устиновых, то ли в своём – с Эрлихом. И это далеко не единственное противоречие в “показаниях” свидетелей его последних четырёх дней в Ленинграде.

Ладно. Остановимся на том, что Есенин буквально рвался к Клюеву. О чём-то жаждал с ним поговорить, что-то обсудить, что-то рассказать. Может, и рассказал бы – остался он с Клюевым наедине, как, оставшись наедине с Ивановым-Разумником летом 1924-го в Царском Селе, откровенно выговорился и по поводу власти, и по поводу своей литературной судьбы... Декабрь 1925 года – время куда более критическое в его жизни. И что-то буквально толкало его к старому другу.

Но факт остаётся фактом. К Клюеву отправился вместе с Эрлихом. Последний живописал, как Есенин долго не мог найти адрес, как долго стучал в чужие двери... Потом эти лихорадочные поиски иные интерпретаторы объясняли есенинским “болезненным состоянием”, “расстройством психики”, дескать, недавно был у него, а тут – всё из памяти вышибло... А это никакая не “болезнь”, а переключение сознания: он думал, как он увидит Николая и о чём будет с ним говорить, а адрес – дело десятое! Стукнулся в близстоящую дверь... Нет? Пошли дальше! Картина хорошо знакомая, не подпадающая ни под какую “патологию”. А если ещё учесть утрирование происходящего в описании Эрлиха и проставленные им акценты...

Пришли. Подняли Клюева с постели. И тут, пожалуй, самое время обратиться к воспоминаниям другого свидетеля, старого знакомого Клюева – художника Павла Мансурова, жившего по соседству, в той же квартире...

“Явился к нам с вокзала, в 6 часов утра перед Рождеством, Есенин с огромным красным петухом, а Эрлих нёс тоже громадный хлеб – круглый, деревенский...”

Всё это население было разбужено так рано. Но у нас не было тогда ни рано, ни поздно. Мне даже помнится, что мы, т. е. я и он, Клюев, с вечера и целую ночь так и сидели, было так много о чём говорить. И чай продолжался уже с новыми гостями. Петуха мать моя куда-то посадила в корзину. То было у нас на Морской, 45, часов до 11-ти утра, а потом вышли, помню, втроём, т. к. Эрлих уже раньше ушёл, а у Есенина было свидание. Он с Устиновым приехал, якобы, для издания какого-то журнала, в Ленинграде поспокойнее, а то в Москве совсем невозможно работать...”

Итак, по Мансурову – 6 утра. По Эрлиху – после 9-ти. Эрлих не вспоминает ни о петухе, ни о караваяе, ни о самом Мансурове в комнате Клюева... И вот здесь проще всего было бы сказать: Эрлих пишет чуть ли не по горячим следам, а Мансуров вспомнил всё происшедшее аж в 1972 году! Что-то с памятью его стало? И непонятно, что ли – кому верить?

Однако не будем спешить. Не так всё просто.

Эрлих достаточно “натемнил” в своих воспоминаниях, на что уже неоднократно обращалось внимание пристальными исследователями. А что касается Мансурова... Он также далеко не во всём правдив – и в этом мы ещё удостоверимся... Но петух и каравай – это чисто по-есенински, особенно если учесть, что подарки предназначались Клюеву. Разговор о журнале и о том, что в Москве невозможно работать – также не противоречат другим есенинским разговорам.

Эрлиха Сергей мог тут же спровадить “за спичками”, даром, что спички в доме были. Но Есенин, по Вольфу, пожелал прикурить от лампадки. Клюев возмутился и протянул спички, а Есенин ничтоже сумняшеся закурил. А когда Клюев вышел – потушил лампадку у икон. И Николай этого якобы не заметил. И соблазнительно связать эту сцену с позднейшими словами Клюева: “А Серёженька ко мне уж очень дурно относился, незаслуженно дурно – пакостил мне где только мог...” Ни о чем подобном не вспомнил Мансуров, настаивающий на своём присутствии при этой сцене. Более того, по Эрлиху,

они все вместе прямо с Морской пошли к Есенину в “Англетер”. Мансуров же пишет, что “мы расстались, условившись завтра в 5 часов быть у Есенина. Так и было”, то есть Клюев пришёл в “Англетер” 26-го числа. Да и сам Николай потом вспоминал, что виделся с Есениным “в последний вечер перед смертью” — именно 26-го — когда Есенин, прочтя “Чёрного человека”, сказал: “Ведь все твои стихи знаю наизусть, вот даже в последнем моём стихотворении есть твоё: “Деревья съехались, как всадники”...” Таких строчек у Клюева нет, но Есенин мог вспомнить это сравнение из устной речи своего учителя, обратившего где-то внимание на необычное “движение” деревьев за окном.

“Была мокрая погода. Снег падал большими хлопьями, — вспоминал Мансуров. — Жена Устинова не оставалась долго. Ушла к себе этажом выше. Половой ничего, кроме сороковки водки, из-за праздника, достать не смог. И вот мы шестеро выпили по маленькой рюмочке... Тихо и в разговорах мы опять сидели за неизменным нашим пустым чаем”. “Шестеро”, насколько можно судить, сопоставляя одни описания вечера с другими — это Есенин, Клюев, Устинов, Эрлих, Мансуров и то ли Иван Приблудный, то ли Игорь Марков — также настаивающий в мемуарах на своём присутствии.

“Есенин рассказывал, что он за полное собрание сочинений получил 20000 рубл., Маяковский 25, Горький один миллион, “а вот эта сволочь (он не назвал имени, но то был Демьян Бедный-Придворов) получил столько, что нельзя и выговорить”. Так он и не выговорил. И ещё в придачу ему, т. е. Дем(ьяну) Бедн(ому), прицепной вагон, чтоб он мог ехать в роскоши, когда и куда он хочет... Потом Есенин читал свои стихи, незабываемые короткие станы, немного под цыганские романсы...”

По Эрлиху, перед тем как читать, Есенин обратился к Клюеву:

— Ты, Николай, мой учитель. Слушай.

Что читал Есенин? Очевидно, кроме “Чёрного человека”, свои последние стихи. Те, что должны были войти в цикл “Стихи о которой” и занять своё место в первом томе собрания.

“Клён ты мой опавший, клён заледенелый...”, “Какая ночь! Я не могу...”, “Не гляди не меня с упрёком...”, “Ты меня не любишь, не жалеешь...”, “Может, поздно, может, слишком рано...”

Может быть, читал и более ранние, “осенние”, исполненные приятием всего сущего и в жизни, и за её чертой и проникнутые предчувствием близкого конца.

*О, моё счастье и все удачи!
Счастье людское землёй любимо.
Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —
Значит, удача промчалась мимо.*

*Жить нужно легче, жить нужно проще,
Всё принимая, что есть на свете.
Вот почему, обалдев, над рощей
Свищет ветер, серебряный ветер.*

.....
*Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Её лицо и отчий край.*

*Любимая, ну что ж! Ну что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.*

*И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что всё на свете повторимо...*

Клюев слушал внимательно. И чем дальше слушал, тем больше убеждался: для него всё это — “пунш, чиновничья гитара, под луной уездная тоска. . .”

— Хорошо, Серёженька, очень хорошо. . . Собрать в одну книжечку — так книжечка настольной станет для всех нежных девушек в России.

Он не язвил. Он предвидел. Предвидел, как переписанная от руки есенинская лирика будет расходиться в никогда не подсчитанном количестве экземпляров по рукам по всей России, нужная, как хлеб и вода, нежным девушкам и юношам. . .

Через много лет великий Георгий Свиридов напишет в одной из своих записных книжек: “У Есенина после “Пугачёва” национальная трагическая тема сменилась темой личной, трагедией личной судьбы: “Москва кабацкая”, “Исповедь хулигана” (написанная до “Пугачёва”. — С. К.), “Любовная лирика” и т. д. Клюев же, не имевший личного (мирского), — оно было порочным, запретным, не подверженным огласке, — весь ушёл в апокалиптическую тематику и в этом достиг своей высоты! *Поэтов такого масштаба теперь — вообще — нет!*”

Не всё здесь точно и в отношении Клюева, и в отношении Есенина. Но не оставляет впечатление: свиридовская мысль через шесть без малого десятилетий вторила клюевской мысли, когда Николай выносил на люди своё суждение о последних есенинских стихах.

А Есенин вскипел. Он уже читал кое-какие стихи Клюева, напечатанные в “Красной газете”. Читал и кричал — “Плохо!” И всё равно пришёл к старшему собрату со словами: “Ты, Николай, мой учитель. Слушай!”

И тот послушал. . .

Эрлих потом написал, что “Есенин помрачнел”. Сам Есенин, если верить Елизавете Устиновой, говорил ей, что “он Клюева выгнал”. Картина, которую почти через полвека нарисовал в своём письме Павел Мансуров, по первому впечатлению отдаёт чистой фантазмагорией. Вчитавшись, начинаешь понимать, что перед нами достаточно расчётливо сплетённый узел из вспомненных реалий и нарочито наложенных фантастических напластований.

“Есенин рассвирепел и полез в драку, и мне пришлось их разнимать, и когда Клюев, к тому привычный, вышел на минутку и мы остались вдвоём, Есенин говорит мне: “Ты знаешь, какая стерва этот Коленька. Я один раз прилёг у него на кровати и задремал, чувствую, что-то мокрое у меня на животе. Он, сукин сын, употребил меня”. “Но это, — говорит, — всё ерунда, а вот не ерунда эта история с Ганиным (и он мне, может, в десятый раз в жизни рассказал, ты знаешь, меня вызвали в ЧК, я пришёл, и меня спрашивают: вот один молодой человек, попавшийся в “заговоре”, и они все мальчишки, образовали правительство, и он, его фамилия Ганин, говорит, что он поэт и Ваш товарищ, что Вы на это скажете? Да, я его знаю. Он поэт. А следовательно спрашивает, — хороший ли он поэт. И я, говорит Есенин, ответил не подумав, товарищ ничего, но поэт говённый”. Ганина расстреляли. Этого Есенин не забыл до последней минуты своей жизни. Потом опять все как-то собрались около диванчика, на котором лежал Есенин, и он каждому из нас прочитал по стихотворению на память. Мне он выбрал “Цветы головки наклонили. . .” . . . А Эрлиху он дал уже раньше написанное на клочке бумаги и говорит: “ты сегодня этого не читай, прочти завтра”. И сунул ему в карманчик пиджака для платочка.

Все разошлись. Мы остались втроём: Есенин, Клюев и я. В окне, напротив, Исаакиевский собор. Мокрые хлопья снега попадали на окно и плыли вниз. Эта была страшная петербургская ночь. Всё было им решено. Ещё когда мы за день перед этой ночью выходили после утра (с петухом и хлебом) на Морскую и шли посередине улицы, то торцовая мостовая была покрыта мокрым снегом и лужами. Навстречу нам также по мостовой шла женщина с маленьким мальчиком, и когда они поравнялись с нами, то мальчик, в страхе смотря на Есенина, начал кричать, а женщина ему говорит — миленький, что с тобой, и они прошли мимо, а Есенин, в своих лаковых башмаках, шёл безразлично по лужам.

После всяких воспоминаний и разговоров мы с Клюевым ушли около пяти часов утра. Жили мы в пяти минутах ходьбы”.

И далее идёт рассказ о том, как в это же утро Мансуров узнал о смерти Есенина.

По свидетельствам Вольфа Эрлиха, Георгия и Елизаветы Устиновых Клюев был в “Англетере” за день до всех событий, описанных Мансуровым.

Ни о каком “лежании на диване” и чтении стихов “каждому на память” никто больше не вспоминал. Ни Эрлих, ни Устинова не писали о присутствии Мансурова, Клюева или ещё кого-либо при пресловутой “передаче стихотворения”. Сцена с “употреблением” живописцем попросту выдумана — дико себе представить, что “употреблённый” не заметил этого самого “употребления”. . . Другое дело — разговор о Ганине, Мансуров неслучайно подчеркнул, что слышит это от Есенина далеко не в первый раз, и вполне можно предположить, что он мог слышать сию историю в пересказе Клюева, с которым делился Есенин.

Впрочем, сам Мансуров, эмигрировавший в 1928 году, уехал явно не без ведома и не без тесных связей с органами внутренних дел России, завязавшихся у него, очевидно, ещё с 1918-го, когда он был арестован ЧК и через короткое время вышел на свободу. Письмо к Ольге Ресневич-Синьорелли, в котором описана вся вышеприведённая сцена, начинается чрезвычайно красноречивым абзацем, из которого следует, что надсмотр за собой он ощущал на протяжении всех этих десятиков лет.

“Все идеальные замыслы искажены ворами различных категорий. Они взяли в свои руки всё. Они управляют Миром. Уйти от этого нельзя. Везде одно и то же. Здесь убивают и грабят людей, а в глубине девственной Природы без нужды убивают драгоценные остатки зверей и механической пилой начинают истреблять леса. Это практикуется и началось у нас в России. Даже самого кормильца-мужика истребили. Я получаю много писем. Видимо, в цензуре там сидят люди, на себе испытывающие результаты такого хозяйства, а потому пиши что хочешь. Я сужу так по письмам, которые я получаю. И по “Литера/турной/ Газете” . . .”

И сразу, без перехода — повествование о Есенине и Клюеве.

Чрезвычайно занятное признание человека, пишущего, что получает из Советского Союза письма л ю б о г о содержания, при этом — просмотренные цензурой, но до него самого доносящие “всё” . . . Что за позыв — в этом контексте — спровоцированный, нет ли — поделиться воспоминаниями об “Англетере” именно в этом варианте? Почему именно в 1972 году? Вопросы, пока остающиеся без ответа.

Клюев, если верить дневнику Роберта Куллэ, литературного критика, специалиста по русской и западной литературе, часто печатавшегося в “Красной газете”, рассказывал о последней встрече с Есениным в совершенно жутких тонах, относя её также к последнему дню (точнее, к последней ночи). Перед этим Клюев вспоминал о Москве, где якобы “его, Клюева, норовили извести, убрать под каким угодно предлогом, чтобы избавиться от конкурирующего крупного таланта” (объяснение более чем странное, но жизни Клюева, действительно, могла угрожать опасность — достаточно вспомнить угрозу Покровского “сломать Клюеву шею” в письме к Бениславской). В “Англетере” же атмосфера ещё более сгустилась: “Прогнав всех от себя, Есенин уговаривал Клюева остаться у него на ночь. Клюев понял, что Есенин что-то замышляет, и сказал ему: “Делай, что задумал, но скорее”. Сам же ушёл, так как он знал, что с Есениным кончено, но перед самоубийством Есенин попытается осуществить давнее своё намерение — убить и Клюева. Около 2 ч/асов/ ночи Клюев подходил под окна гостиницы и видел свет люстры в номере. Он полагал, что там вновь началась оргия, и ушёл. Утром узнал о самоубийстве, совсем не неожиданным для него. . .”

Запись этой совершенно фантазмагорической сцены относится к 15 марта 1927 года. Волей-неволей возникает вопрос: что же случилось с Клюевым, что он мог в этом заподозрить Есенина, и в точности ли передал клюевский рассказ Куллэ? Тем более что дальше в дневнике следует красноречивая запись: “Клюев далеко не так прост, каким он хочет казаться. У него большие провалы”. Провалы — где? В памяти? В сюжетной нити этого жуткого рассказа?

Клюев передавал собеседнику своё впечатление от той жутки, которая охватила его, когда Есенин стал уговаривать товарища остаться. Один он быть в номере не желал: чувствовал смертельную опасность. Её же почувствовал и Клюев — опасность, грозящую и Есенину, и ему самому. Потом уже, со многими паузами и недоговоренностями, воспринимающимися как “провалы”, он мог поговорить о своей последней встрече, упирая на свою невозможность остаться. . . Дескать, не человек уже был перед ним, а змеиная шкура извивалась. . . Не остался, но пошёл домой и всю ночь молился за Серёженьку. . . Более ни о чём подобном, похожем на некую опасность, исходившую для него

от Сергея, он нигде и никому не упоминал — ни Павлу Медведеву, ни Игорю Маркову, ни тому же, насколько можно судить, Мансурову — более близким ему людям, чем Куллэ... Впрочем, о своей попытке вернуться в “Англетер” вечером 27-го числа, на следующий (следующий ли?) день после расставания он рассказал художнику Николаю Минху:

“... Накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошёл я к нему в гостиницу. В “Англетер” этот. Гляжу, в номере дружки его сидят. На столе коньяки, закуски. На полу хлеб, салфетки валяются. Кого-то, видать, мутило. В свином хлеву чище! Ох, думаю, зря пришёл! Дружки его увидели меня и, как жеребцы, заржали: “Кутя пришёл! Кутя!” Я их спрашиваю: “Серёженька-то где?” А они толкать меня в дверь зачали. “Иди, — говорят, — старик! Иди! Он ушёл и придёт не скоро. Баба его увела”.

А на кровати, смотрю, вроде человек лежит. Одеялом с головой укрыт. Храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили. Взащей выгнали... А наутро слышу: Серёженька повесился!..”

Это всё происходило уже после ухода из есенинского номера и Устинова, и Эрлиха — оба вспоминали, что Есенин в эти последние часы был абсолютно трезв и спокоен... После 8-ми вечера в номер нагрянула некая компания (из кого она состояла — неизвестно по сей день) с алкоголем и — явно для частного разговора... О чём он мог быть? И откуда могли явиться эти люди? Тут впору вспомнить, что, как писала в своих воспоминаниях Елизавета Устинова (воспоминаниях, очевидно, просмотренных и отредактированных её мужем Георгием), Есенин “запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что так ему надо для того, чтобы из Москвы не могли за им следить”. “Из Москвы” — намёк мог быть только на людей, непосредственно принимавших участие в партийной схватке на XIV съезде, соответственно, на ближайшее окружение партийных вождей... Кстати сказать, потом этот “портье” растворился в небытии, он больше не фигурирует ни в одном документе, а в показаниях коменданта гостиницы Назарова — бывшего чекиста (насколько они могут быть “бывшими”) — не упоминается ни о чём подобном.

О некоей компании, пировавшей тогда в номере Есенина, вспоминал и Лазарь Берман, бывший секретарь журнала “Голос жизни”, а в 1925-м — сотрудник издательства “Прибой” и — по совместительству — сотрудник ГПУ, который также видел “длинный стол, в беспорядке уставленный разными закусками, графинчиками и бутылками... множество народа... совершенно чуждого” и якобы спящего Есенина “на тахте”... Пришёл он в номер (незванный и непрощеный, но почему-то жаждущий увидеться с Есениным) до Клюева или после него — неясно.

Так или иначе — Клюева выпроводили вон, не дав ему поднять одеяло с головы лежащего Есенина (был ли он ещё жив в эти минуты? И слышал Клюев “храп” или предсмертный хрип?). Не трудно предположить, что могло бы произойти с самим Клюевым — попытайся он открыть лицо своего друга (и ведь чувствовал, чувствовал он смертельную опасность, разлитую в воздухе, ещё когда прощался с Сергеем!) Что же это были за персонажи сей кровавой истории? Кого же из них так “мутило”, у кого не выдержали нервы?

Николай Минх был не единственный, кому Клюев рассказывал о своей несостоявшейся встрече с Есениным. То же самое он рассказал и художнику Василию Сварогу, который опубликовал в “Красной газете” свой рисунок Есенина, вынутого из петли, лежащего на полу... Не один читатель мог прийти в ужас от самого вида мёртвого тела буквально растерзанного поэта. Ставшие гораздо позже известными фотографии, сделанные Моисеем Наппельбаумом, ничего общего не имеют с этим рисунком с натуры поэта, лежащего на полу... Наппельбаум снимал тело, уже приведённое в относительный порядок.

Кстати, о петле. И Елизавета Устинова, и Вольф Эрлих единогласно утверждали, что утром 28-го числа увидели тело Есенина в петле на трубе парового отопления справа от окна, тогда как на самом деле трубы располагались слева. Но куда важнее другое. Милиционер Георгий Петрович Евсеев через много лет вспоминал, что на выезде в “Англетер” в составе милицеевской бригады он видел мёртвого Есенина, привязанного за шею не к трубе, а к батарее. Проще всего было бы отместить это свидетельство, объяснив его потерей памяти после стольких лет, если бы не странное подтверждение этого факта в воспоминаниях Ивана Михайловича Гронского (с ним Клюеву ещё предстоит встретиться), который в своём выступлении в Центральном госу-

дарственном архиве литературы и искусства 30 сентября 1959 года утверждал, что Есенин “ведь не вешался на крюке или ещё на чём-нибудь, он привязал верёвку к батарее”. . . Подобную информацию он мог получить только от людей из органов внутренних дел, знающих подлинную картину происшедшего. Вот и получается, что разные служащие видели разное: Г. Евсеев – тело, привязанное за шею к батарее, а участковым надзирателем 2-го отделения Ленинградской гормилиции Н. Горбовым “был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде, шея была затянута не мёртвой петлёй, а только одной правой стороной шеи, лицо было обращено к трубе, и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком и ноги от пола были около 1 ½ метров. . .”

Слух о происшедшем мгновенно разлетелся по Ленинграду. В “Англетере” появились Борис Лавренёв, Михаил Фроман, Николай Браун, Николай Никитин, Павел Медведев, Всеволод Рождественский, Михаил Слонимский, Иннокентий Оксёнов. . . Вольф Эрлих сидел посреди номера с хозяйским видом. . . Вид же лежащего на кушетке Есенина был страшен. Жуткий багровый шрам на переносице сам по себе вызывал вопросы, но все они были тут же отмечены одним объяснением: прижался, дескать, лицом к горячей трубе. . . На дворе – метель, а трубы холодные, и составитель протокола кутался в шинель. . . Если кто потом и обратил внимание на это противоречие, то мог задать леденящий душу вопрос лишь самому себе.

Браун и Лавренёв, переглянувшись, отказались подписывать протокол. Его подписали Медведев, Эрлих, Фроман и Рождественский. Когда Николай Браун потом спросил Рождественского: “Сева, как ты мог?.. Ты же не видел, как Есенин петлю на себя надевал”, – тот ничтоже сумняшеся ответил: “Ну, а как?! Мне сказали, нужна ещё одна подпись! Я и подписал!”

Ни к Медведеву, ни к Эрлиху, ни к Фроману подобных вопросов ни у Брауна, ни у Лавренёва не было. В ленинградских литературных кругах, очевидно, было хорошо известно сотрудничество названных литераторов с ГПУ – и ничего лишнего у них никто не спрашивал.

Медведев, первым из писателей вызванный Эрлихом в “Англетер”, и обзванивал потом своих коллег с извещением о “самоубийстве Есенина” – за долго до прекращения всякого дознания, до медицинской экспертизы, до составления всех протоколов. И так всё ясно! Чего темнить?

Он же с этой новостью заявился к Клюеву, когда тело Есенина уже было отправлено в мертвецкую Обуховской больницы.

Николай слушал спокойно. Держал себя в руках. Только произнёс: “Этого и нужно было ждать”.

Вынул из комода свечу, зажгёт её у божницы, перекрестился широко и стал читать молитву за упокой души раба Божьего Сергия.

Помолился – и слёзы градом хлынули из его глаз.

– Я говорил Серёженьке и писал к нему: брось эту жизнь. Собакой у порога твоего лягу. Ветру не дам на тебя дохнуть. Рабом твоим буду. Не поверил – зависть, мол, к литературной славе. Я обещал ему 10 лет не брать пера в руки. Не поверил – обманываю. А слава вот к чему приводит. . .

В его глазах Есенин давно покончил с собой. Когда изменил себе, связался с “Москвой кабацкой”, со славой бумажной, с известностью у всякого люда без разбора. . . И “Англетер” – лишь естественное завершение этой безбожной жизни. . .

Думал так, убеждал сам себя – а перед глазами стояли ухмыляющиеся хари в есенинском номере. . . “Кутя пришёл! Кутя!.. Баба его увела. . .” Слово чёрное вороньё, налетевшее на кровавую жатву. Как там у Пушкина? “Не стая воронов слеталась. . .”

* * *

В 6 часов вечера 29 декабря гроб с телом Есенина был выставлен в Союзе писателей на катафалке.

“В течение часа, приблизительно, гроб стоял так, и вокруг него толпились люди, – записал в дневнике Павел Лукницкий. – Было тихо. Но всё же многие разговаривали между собой и говорили – о своих делах (!). . . Ощущалась какая-то неловкость – люди не знали, что им нужно делать, и бестолково пе-

реминались с ноги на ногу... Есенин был мало похож на себя. Лицо его при вскрытии исправили, как могли, но всё же на лбу было большое красное пятно, в верхнем углу правого глаза – желвак, на переносице – ссадина, и левый глаз – плоский: он вытек. Волосы были гладко зачёсаны назад, что ещё больше делало его непохожим на себя. Синева в лице не было: оно было бледно, и выделялись только красные пятна и потемневшие ссадины...” Инокентий Оксёнов записал своё: “В гробу он был уже не так страшен. Ожог замазали, подвели брови и губы. Когда после снятия маски смывали с лица гипс, волосы взмокли, и, хотя их вытерли полотенцем, они легли, как после бани, пришлось расчёсывать. Ионов не отходил от гроба...”

Клюев стоял с краю ото всех. Не отводя глаз, смотрел в лицо погибшего. Ни с кем не заговаривал, ни на кого больше не глядел. Плакал – и вглядывался, вглядывался, вглядывался... Не слышал никаких жужжащих вокруг разговоров о “своём”, не замечал ничего дурного нетерпения, праздного любопытства. Единственно на что среагировал – когда установил свою аппаратуру фотограф Булла, к гробу стали протискиваться те, кто посчитал необходимым запечатлеть своё присутствие, и раздались крики из публики: “Клюева! Клюева!” Тогда медленно прошёл и встал с краю рядом и Ионовым, по-прежнему ни на кого не глядя, не видя, как с другой стороны от Ионова встали Василий Наседкин и Софья Толстая.

Перед тем как закрыть гроб, подошли прощаться. Николай, наклонившись, целовал Есенина и шептал что-то, словно договаривал недоговоренное тогда... Перекрестил покойного и положил ему на грудь образок... На истерический вопль какой-то актрисы: “Довольно этой клюевской комедии!.. Раньше надо было делать это!” – даже головы не повернул. Слово не слышал ни бабьего визга, ни последующего шиканья.

Простился. Закрытый гроб в сопровождении оркестра отправился на Московский вокзал...

А в газетах уже творилось нечто невообразимое.

“Красная газета” печатает “предсмертное” стихотворение Есенина “До свиданья, друг мой, до свиданья...” (когда и где оно на самом деле написано – так и не ясно по сей день). В том же вечернем выпуске: “В гостинице “Англетер” покончил самоубийством приехавший из Москвы поэт Сергей Есенин... Когда Устинов и жена его ушли, Есенин попросил (кого??? – С. К.), чтобы никого к нему в номер не пускали, так как он устал и хочет отдохнуть”. В “Гудке” от того же числа: “Долгое время он не выходил из номера; поэтому администрация гостиницы, заподозрив неладное, вскрыла дверь номера и нашла Есенина повесившимся с перерезанными венами на руках (?! – С. К.). На столе найдена неоконченная записка, написанная кровью (!! – С. К.)”. В “Рабочей Москве” в тот же день: “Рядом с трупом обнаружен небольшой кусок белой бумаги, на котором кровью написано несколько строк стихов, тут же валялся разорванный портрет сына поэта”... И так по многим газетам страны в том же духе... А самое живописное описание “самоказни” принадлежит, конечно, Георгию Устинову:

“Есенин умер по-рязански, тем желтоволосым юношей, которого я знал. Этот юноша не делал петли из шарфа, он обёртывал этот шарф два раза вокруг своей шеи, два раза верёвку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног тумбочку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь...”

Всё это читал Клюев, не зная, конечно, что приехавший в Москву Василий Наседкин, видевший мёртвого поэта, сказал прямым текстом своей жене – сестре Есенина Екатерине: “Сергея убили”. Не знал, но не мог не остановиться на новой публикации в той же “Красной”, уже выходящей под редакцией Петра Ивановича Чагина, – некрологе Бориса Лавренёва: “Казнённый дегенератами”:

“Есенин был захвачен в прочную мёртвую петлю. Никогда не бывший имажинистом, чуждый дегенеративным извергам, он был объявлен вождём школы, родившейся на пороге лупанария и кабака, и на его славе, как на спасительном плоту, выплыли литературные шантажисты, которые не брезгали ничем и которые подуськивали наивного рязанца на самые экстравагантные скандалы, благодаря которым в связи с именем Есенина упоминались и их ничтожные имена... С их лёгкой руки за ними потянулись десятки мелких хищников, и трудно даже установить, какое количество литературных

сутенёров жило и пьянствовало за счёт имени и кармана Есенина, таская несчастного, обезволенного поэта по всем кабакам, волоча в грязи его имя и казня его самыми гнусными моральными пытками. Никакая борьба с этими гиенами не могла привести к благотворным результатам. Усилия врачей и немногих искренне любивших поэта людей разбивались о сплочённость организованной сволочи, дегенератского сброда, продолжавшего многолетнюю казнь поэта... И мой нравственный долг предписывает мне сказать раз в жизни правду, и назвать палачей и убийц — палачами и убийцами, чёрная кровь которых не смывает кровавого пятна на рубашке замученного поэта”.

В сборник “Памяти Есенина”, издаваемый Всероссийским Союзом поэтов, он дал старое стихотворение “В степи чумацкая зола...” как напоминание о былом пророчестве — злом: “От оклеветанных голгоф тропа к иудиным осинам...” И — дóбром, переключившемся с Пушкиным: “И вспомнит нас младое племя на песнотворческих пирах...” И в этом же сборнике — раскрыл страницу на воспоминаниях Николая Тихонова, этого советского барина от поэзии, глядя на которого, иронически обмолвился: “Вот так поэты революции!” Этот “барин” был едва ли не безутешнее его самого на церемонии прощания. А здесь — в сборнике — вспоминал о встрече с Есениным в Тифлисе. И о есенинских словах в эту встречу за столом духана:

“ — Ты не знаешь, я не могу спать по ночам... Раскроешь окно на ночь — влетают какие-то птицы. Я сначала испугался. Просыпаюсь — сидит на спинке кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал. Взлетела и села на шкаф. Зажёг свет — нетопырь. Взял палку — выгнал одного, другого висит у окна. Спать не дают. Чёрт знает — окон раскрыть нельзя. Противно — серые они какие-то...”

Что-то бродило внутри у Тихонова, какие-то тяжёлые мысли роились в голове, когда он писал эти воспоминания.

“Бедный странник знал не только скитанья и песни, серые птицы не давали ему спать, и не только спать, они волочили свои крылья по его стихам, путали его мысли и мешали жить. Когда-нибудь мы узнаем их имена.

Но никто никогда не узнает, какой страшный нетопырь, залетев в его комнату в северную длинную зимнюю ночь, смёл начисто и молодой смех, и ясные глаза, и льняные кудри, и песни, из которых не нужно брать примеров для учебника”.

А к тому времени, когда вышел сборник, уже было напечатано и перепечатано письмо Троцкого “Памяти Есенина”, где из-под выпренок-красивого плетения словес проступали железные шипы.

“Он ушёл тихо, без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв её рукою, из которой сочилась кровь... Он нередко кичился дерзким жестом, грубым словом. Но под всем этим трепетала совсем особая нежность неограждённой, незащищённой души... Больше не могу, — сказал 27 декабря (а все газеты со ссылкой на неизвестного “врача” писали, что 28-го! — **С. К.**) побеждённый жизнью поэт — сказал без вызова и упрёка... Есенин не был революционером. Автор “Пугачёва” и “Баллады о двадцати шести” был интимнейшим лириком. Эпоха же наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушёл от нас и от своей эпохи Сергей Есенин... Нет, поэт не был чужд революции — он был несроден ей... Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, — эпична, — катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой... Спираль истории развернётся до конца. Не противиться ей должно, а помогать сознательными усилиями мысли и воли. Будем готовить будущее. Будем завоёвывать для каждого и каждой право на хлеб и право на песню. Умер поэт. Да здравствует поэзия!...”

Каждому умному должно быть понятно: спираль истории развернётся до конца, а “несродные” с этой “спиралью”... Дальше объяснять не надо. И волей-неволей всплывает в памяти “серый нетопырь”, что “смёл начисто и молодой смех, и ясные глаза, и льняные кудри”...

... Давным-давно стала одной из любимейших книг Клюева “керженская” эпопея Мельникова-Печерского “В лесах”. Ещё до революции вселился в его строки мир гармонии истинного православия на пороге разорения и погорельщины.

*По керженской игуменье Манёфе,
По рассказам Мельникова-Печерского
Всплакнулось душеньке, как дрохве
В зоологическом, близ моржа пустозерского.*

*Потянуло в мир лестовок, часословов заплаканных,
В град из титл, где врата киноварные...
Много дум, недомолвок каляканных
Знают звёзды и травы цитварные.*

Керженская игуменья, настоятельница Комаровского скита Матрёна Филлиповна, принявшая имя прежней настоятельницы Манёфы, — одна из любимейших клюевских героинь... И сейчас, после гибели своего собрата, Николая снова обратился к мельниковскому миру Заволжья... Зорение церковей, гибель Есенина, старые разгромленные и пожжённые скиты — всё соединяется им воедино.

“— Скитская беда не людская, сударыня... И без вины виноваты останемся, — сказала Манёфа. — Давно на нас пасмурным оком глядят, давно обители наши вконец порешить задумали... Худой славы про скиты много напущено... В какой-нибудь захудалой обители человек без виду попадётся — все про скиты закричат, что беглыми полнёхоньки... Согрешит негде девица, и выйдет дело наружу, ровно в набат про все скиты забьют: “Распутство там, разврат непотребный!..” “...всех погубят, все скиты, все обители!.. Слабы ноне люди пошли, нет борборников, нет подвижников!.. Забыв Бога, златому тельцу поклоняются... Горькие времена, сударыня, горькие!..”

А как предвестие горьких времён — смерть согрешившей Настеньки, дочери тысячника Потапа Максимыча — ей и девятнадцати не было. Убила кручина по Алексею, соблазнившему её и почувствовавшему, “что согнул дерево не по себе... Тёмным мороком пала ему на ум Настя... Вспомнилось, как вдвоём в подклете сживали, тайные любовные речи говаривали; вспомнилось, как гордая красавица не снесла пыла страсти — отдалась желанному душой и телом... “Что ж?.. Не мы первые, не мы и последние... Кручился-мучился, доспел и бросил...”

*Хороша была Настенька у купца Чапурина,
За ресницей рыбица глотала глуть глубокою.
Аль опоена, аль окурена,
Только сгибла краса волоокая.*

*Налетела на хоромы приукрашены
Птица мерзкая — поганый вран,
Оттого от Пинеги до Кашина
Вьюгой разоткался Настин сарафан.*

*У матёрой матери Мемёлфы Тимофеевны
Сказка-печень вспорота и сосцы откушены,
Люди обезлюдены, звери обеззверены...*

Это стихотворение, начинающееся строкой “Наша собачка у ворот отлаяла...”, отсылающее к есенинской собачонке, что встречала поэта “лаем у ворот”, к его же покинутому псу, воющему “о погибшей невесте”, было напечатано тогда же — в 1926 году в коллективном сборнике “Собрание стихотворений”. И летом того же года Клюев пишет “Плач о Сергее Есенине”, где снова появляется погибшая Настенька.

*С тобой бы лечь во честной гроб,
Во желты пески, да не с верёвкой на шею!..
Быль иль небыль то, что у русских троп
Вырастают цветы твоих глаз синее?*

*Только мне, горюну, — горынь-трава...
Овдовел я без тебя, как печь без помяльца,
Как без Настеньки горенка, где шелки да канва
Караулят пустыи, нешитые пяльца!*

Помнил Николай плачи своей матери, помнил плачи олонецких старух – и те, старые плачи, что Мельников записал для своего повествования.

“Нигде так не сбереглись эти отголоски старины, как в лесах Заволжья и вообще на Севере, – писал он, предваряя обряд оплакивания Настеньки, – где по недостатку церковей народ меньше, чем в других местностях, подвергся влиянию духовенства. Плачеи и вопленицы – эти истолковательницы чужой печали – прямые преемницы тех вещей жён, что “великими плачами” справляли тризны над нашими предками. Погребальные обряды совершаются ими чинно и стройно, по уставу, изустно передаваемому из рода в род... Одни плачи поются от лица мужа или жены, другие от лица матери или отца, брата или сестры, и обращаются то к покойнику, то к родным его, то к знакомым и соседям... И все на свой порядок, все на свой устав... Таким образом, одновременно справляется двое похорон: одни церковные, другие древние старорусские, веющие той стариной, когда предки наши ещё поклонялись Облаку ходячему, потом Солнцу высокому, потом Грому Гремучему и Матери Сырой Земле...”

Клюев, видя, как провожают Есенина, не мог не вспомнить нелюбимого им, но здесь как нельзя кстати пришедшегося Некрасова: “Без церковного пенья, без ладана, без всего, чем могила крепка...” Он мог и не знать, что мать Сергея, Татьяна Фёдоровна, отпела его заочно после того, как её буквально отговорили приводить священника в Московский Дом печати. Мать, в “Письме” к которой Есенин писал: “И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет...” Эти стихи знала вся страна, а то, что осталось в черновиках – появилось в печати гораздо позже и осталось практически неизвестным: “Ты прости, что я в Бога не верую, я молюсь ему по ночам...” Николай совершил над ним свой плач – и начал его со строк: “Помяни, чёртушко, Есенина кутьёй из углей да омылков банных...” Чёртушко поминает погибшего, по мысли Клюева, от своей собственной руки собрата, что перед этим ушёл от старшего “разбойными тропинками”, “острупел... весёлой скукой в кабацком буруне топить свои лодки”, “обронил... хазарскую гривну – побратимово слово, целовать лишь солнце, ковригу, да цвет голубый...” Все упреки высказаны – и вступает основной мотив плача – сродни причитаньям воплениц над безвременно ушедшей Настенькой Чапуриной:

*Не утай, скажи, касатка моя, ластвушка.
Ты чего, моя касатушка, спужалась?
Отчего ты в могилушку сряжалась?
Знать, того ты спужалась, моя ластвушка,
Что ноне годочки пошли все слезовые,
Молодые людюшки пошли все обманные,
Холосты ребята пошли нонь бессовестные...*

И Клюев словно бы вышивает свою мелодию по канве старого причитания:

*Ты скажи, моё дитяtko удатное,
Кого ты сполохался-спужался,
Что во тёмную могилушку собрался?
Старичища ли с бороною
Аль гуменной бабы с метлою,
Старухи ли разварухи,
Суковатой ли во играх рюхи?
Знать, того ты сробел до смерти,
Что ноне годочки пошли слезовы,
Красны девушки пошли обманны!
Холосты ребята всё бесстыжи!*

Он потом перекинет “мостик” от причитания к “годочкам слезовым”, что выпали и есенин, и Сергею... Но сначала, отплакавшись по-старинному, он вспомнит есенинское “Этой грусти теперь не рассыпать звонким смехом далёких лет. Отцвела моя белая липа, отзвенел соловьиный рассвет...” – и это отцветание перенесёт на себя. Сам он отцвёл с потерей друга, и ещё страшнее потери – сознание того, как потерял.

*Отцвела моя белая липа в саду,
Отзвенел соловьиный рассвет над речкой.
Вольготней бы на поклоне в Золотую Орду
Изведать ятагана с ханской насечкой!*

*Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по-мужицки — до рук борода!*

Михаил Тверской, князь-мученик, был убит в Золотой Орде после долгого и кровопролитного соперничества с Московским князем Юрием Даниловичем, но пал он от рук ордынцев и принял смерть мужественно и твёрдо... Клюев вроде бы жалеет, что его собрат не принял смерть подобно Михаилу от рук современных ордынцев, но именно эта часть поэмы завершается загадочным вопросом: “О жертве вечерней иль новом Иуде шумит молочай у дорожных канав?” А “жертва вечерняя” отсылает к эпиграфу “Плача” — цитате из четвёртой новгородской летописи: “Младая память моя железом погибает, и тонкое тело моё увядает...” Плач Василька, князя Ростовского. Клюев не мог не предполагать, что кто-нибудь из читающих его поэму обратится к Лаврентьевской летописи и прочтёт о судьбе ростовского князя Василько Константиновича, ставшего первым русским новомучеником за веру.

“А Василька Константиновича вели с постоянным понуждением до Шернского леса, и когда стали станом, принуждали его многие безбожные татары принять обычаи татарские, быть в их неволи и воевать за них. Он же никак не покорялся их беззаконию, и много укорял их, говоря: “О глухое царство осквернённое! Ничем не заставите вы меня отречься от христианской веры, хотя и нахожусь я в великой беде; как дадите ответ Богу, многие души погубив без правды? За их муки будет мучить вас Бог, и спасёт души тех, кого погубили”. Они же скрежетали на него зубами, желая насытиться его крови. Блаженный же князь Василько помолился... И в последний раз помолился: “Господи Иисусе Христе Вседержитель! Прими дух мой, да и я почию в славе Твоей”. И сказал это и тотчас без милости был убит... И когда понесли его в город, множество народа вышло навстречу ему, печальные слёзы проливая, лишившись такого утешения. И множество народа правоверного рыдали, видя, что отходит отец сиротам и кормилец...”

Так как же всё-таки, если следить за мыслью Клюева в “Плаче”, принял смерть Есенин? Как Михайло Тверской? Как Василько Ростовский? Или “молодой детинушка себя сразил”, отравившись миазмами города, куда “к собрату берёзка пришла”, почитая город собратом, а в ответ:

*На гостью учёный набрёл,
Дивился на шитый подол,
Поведал, что пухом Христос
В кунсткамерной банке оброс.*

*Из всех подворотен шёл гам:
“Иди, песнолика, к нам!”
А стая поджарых газет
Скулила: “Кулацкий поэт!”*

*Куда ни стучался пастух —
Повсюду урчание брюх,
Всех яростней в огненный мрак
Раскрыл свои двери кабак.*

Клюев зашифровал свою догадку так, что лишь не скоро и лишь знающему можно на неё набрести... И сам оставил для себя вопрос, на который у него не было ответа.

Отойдя от счёта с постылой современностью, сжирающей самого Клюева и сжившей с белого света его собрата, — он снова возвращается к причитанию по образцу того, что выводила Устинья в мельниковском романе над покойной Настасьёшкой от лица матери:

*На полёте летит белая лебёдушка,
На быстром несётся касатка-ластушка.
Ты куда, куда летишь, лебедь белая,
Ты куда несёшься, моя касатушка?..
Не утай, скажи, дитя моё родное...
Ты в какой же путь снарядилася,
Во которую путь-дороженьку,
В каки гости незнакомые,
Незнакомые, нежеланные?*

Но лебедь белая у Клюева становится свидетельницей и участницей поразительного действия.

*На полёте летит лебедь белая,
Под крылом несёт хризопрас-камень.
Ты скажи, лебедь пречистая, —
На пролётах-перемётах недосягнутых,
А на тихих всплавах по озёршкам
Ты поглядкой-выглядом не выглядела ль,
Ясным смотром-взором не высмотрела ль...
Не шёл ли бережком добрый молодец,
Он не жал ли к сердцу певуна-травы,
Не давался ли на родимую сторонушку?*

И отвечает лебедь, как в том же граде, “железом крытом”, в который пришёл некогда берёзкой “белый свет-Серёжа”, он же “молодой детинушка” — “кидал себе кровь поджильную, проливал её на дубовый пол”... В старое причитание вторгается кровавое “сегодня” — кровь на полу — из статей лихих газетчиков, жаждущих “покраше” расписать происшедшее... Но далее:

*Как на это ли жито багровое
Налетали птицы нечистые —
Чиряя, Грызея, Подкожница,
Напоследки же птица-Удавница.
Возлетала Удавна на матицу,
Распрядала крыло пеньковое,
Опускала перище до земли.
Обернулось перо удавной петлём...*

Если вспомнить “серых нетопырей”, что “мешали спать и жить” поэту из некролога Николая Тихонова, то, выходит, что “детинушка себя сразил”, да не сам себе петлю на шею накинул... “Птицы нечистые” ассоциативно отсылают и к Тихонову, и к Лавренёву, но сами они — не из древнего ли “Вороно-гряя”, отреченной гадательной книги по птичьему полёту, из тех книг, что не признавала Русская Православная Церковь, а Клюев эту литературу хорошо знал... Мифологические существа, исполненные зла, пирующие на чужой крови — не те ли, кого встретил Клюев в “Англетере”, и кто уже начал пробавляться в печати мерзким словечком “есенинщина” — прямым производным от князевской “клюевщины”? Древние мифы и живая, кровавая современность сливаются воедино.

А лебедь белая — символ неба, верховного божества, передатчик человеческой души из мира живых в мир мёртвых — несёт “душу убойную” в хризопрасе-камне не в царство смерти, где, мнится Клюеву, уготованы ей вечные муки, а “под окошечко материнское”. Его, клюевская лебедь, спасает душу неприкайнную Серёженьки после его гибели! “Прорастёт хризопрас берёзынькой, кучерявой росной, как Сергеюшко”... Как берёзкой чистой, белой пришёл в город, так и после кончины берёзкой расти будет...

Заклинает Клюев земные и небесные силы, заклинает божества и чертей в аду — дабы не отдавали собрата на мучения посмертные после всего перенесённого в жизни... Матушка его поёт ему, обращённому в берёзыньку, колыбельную, а сам Клюев завершает свой “Плач” неторопливой лирической

песней, где слышен голос спасённого “Сергеюшки”, где отзываются его зимние мелодии последних стихов — “снежная замаять дробится и колется” — и любимый кот выглядывает с лежанки, и дед из старого стихотворения улыбается в бороду... И слышится хрипловатое, немного срывающееся, есенинское: “Приемлю всё, как есть, всё принимаю. Готов идти по выбитым следам...” Всё принимает и его живой ещё старший собрат, сумевший, мнится, совершить невозможное...

*Падает снег на дорогу —
Белый ромашковый цвет.
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет?
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет.*

.....

*Жизнь — океан многозвонный —
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны —
Всё принимает поэт...
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.*

Два небольших отрывка из “Плача о Сергее Есенине” были напечатаны в “Красной газете”, а в следующем 1927 году поэма вышла отдельным изданием с предваряющей её большой статьёй Павла Медведева “Пути и перепутья Сергея Есенина”, который писал, в частности: “Это — именно плач, подобный плачам Иеремии, Даниила Заточника, Ярославны, князя Василька. В нём личное переплетается с общественным, глубоко интимное с общеисторическим, скорбь с размышлением, нежная любовь к Есенину со спокойной оценкой его жизненного дела, одним словом — лирика с эпосом, создавая сложную симфонию образов, эмоций и ритмов... На “Плаче” лежит печать огромного своеобразия и глубокой самобытности...”

Надо сказать, что в данном случае статья Медведева служила неким “конвоиром” клюевской поэмы. Полной её публикации, конечно, способствовала общественная репутация автора предисловия — комсомольского комиссара 3-го Ленинградского полка войск ГПУ и по совместительству сверхштатного научного сотрудника Пушкинского Дома. Пройдёт ещё год — и Медведев уже своим именем “прикроет” книгу, написанную Михаилом Бахтиным — “Формальный метод в литературоведении”. Она выйдет под фамилией Медведева, хотя достаточное количество людей, причастных к литературной науке, будут точно знать — кто подлинный автор.

Но спасти от цензурного вмешательства поэму не удалось. Из текста были исключены три строфы, из которых лишь последнюю удалось дать в виде второго эпиграфа.

*Для того ли, золотой мой братец,
Мы забыли старые поверья, —
Что в плену у жаб и каракатиц
Сердце-лебедь растеряет перья,*

*Что тебе из чёрной конопели
Ночь безглазая совьёт верёвку,
Мне же беломорские метели
Выткнут саван — горькую обновку.*

*Мы своё отбояли до срока,
Журавли, застигнутые вьюгой,
Нам в отлёт на родине далёкой
Снежный бор звенит своей кольчугой.*

А незадолго до издания поэмы Клюев, выступавший практически на всех вечерах, посвящённых памяти Есенина в Ленинграде (он ничего не рассказывал, только читал стихи – и уходил), прочёл её вместе с другими стихотворениями 10 января 1927 года на вечере в Ленинградском Большом драматическом театре.

Замечательное по-своему воспоминание об этом выступлении оставила Ольга Форш, назвав чтение Клюева “неслыханными поминками... по ушедшему самовольно другу”.

“На поминальном вечере зал был полон и взволнован отвратительно. На зрителях – нездоровый налёт садизма. Пришли не ради поэзии, а чтобы на даровщинку удобно, но в меру остро поволноваться, замирая от стихов, за которые не они заплатили жизнью.

Выступали певцы и декламаторы, уже обычно и развязно стригли с “Письма матери” купоны, зарождали лютый гнев Маяковского.

Настал черёд и Микулы. Он вышел с правом, властно, как поцелуйный брат, пестун и учитель. Поклонился публике земно – так дык в опере кланяется Годунову. Выпрямился и слегка вперёд выдвинул лицо с защуренными на миг глазами. Лицо уже было оваяно песенной силой. Вдруг Микула распахнул веки и без ошибки, как разящую стрелу, пустил голос.

Он разделил помин души на две части. В первой его встреча юноши-поэта, во второй – измена этого юноши пестуну, старшему брату и себе самому.

Голосом, уветливым до сладости, матерью, вышедшей за околицу встретить долгожданного сына, сказал он своё известное слово о том, как

*С Рязанских полей коловратовых
Вдруг забрезжил конопляный свет.
Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного,
С голоском слаще девичьих бус.*

Ещё под обаянием этой песенной нежности были люди, как вдруг он шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко.

Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот, в “Страшной мести”, Катерину душу за то, что не послушала его слов. Не послушала, и вот –

*...На том ли дворе, на большом рундуке,
Под заклатою чёрной матицей,
Молодой детинушка себя сразил...*

Никто не уловил перехода, когда он, сделав ещё один мелкий шагок вперёд, стал говорить уже не свои, а стихи того поэта, ушедшего.

Чтобы воочию представить уже подстерегавшую друга гибель, Микула говорил голосом надсадным, хриплым от хмеля.

*И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое...*

Было до тонкой верности похоже на голос того, когда с глухим отчаянием, ухарством, с пьяной икотой он кончил:

*Ты Рассея моя... Рас... сея...
Азиатская сторона.*

С умеренным вожделием у публики было кончено. Люди притихли, побледнев от настоящего испуга. Чудовищно было для чувств обывателя это нарушение уважения к смерти, к всеобщим эстетическим и этическим вкусам.

Микула опять ударил земно поклон, рукой тронув паркет эстрады, и вышел торжественно в лекторскую. Его спросили:

– Как могли вы... .

И вдруг по глазам, поголубевшим, как у врубелевского Пана, увиделось, что он человеческого языка и чувств не знает вовсе и не поймёт произведён-

ного впечатления. Он действовал в каком-то одному ему внятном, собственном праве.

— По-мя-нуть захотелось, — сказал он по-бабьи, с растяжкой. — Я ведь плачу о нём. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила...

— Зачем же вы оставили его одного? Тут-то вам и не отходить.

— Много раньше увещал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь чёрный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошёл. Не спал ведь — плакал”.

Многие свидетели этой сцены совершенно не поняли того, что происходило на их глазах. Не поняла, естественно, и Ольга Форш.

Клюев при всей собравшейся “отвратительно взволнованной” публике вёл свой диалог с Есениным. Соединив в единое целое в определённой последовательности стихотворение “Оттого в глазах моих просинь...” и “Плач” — он дал ответ Есенина голосом Есенина. Сергей, словно вернувшийся с того света, отвечал Клюеву изнутри самого Клюева — стихами, тогда ещё, три года назад пронзившими Николая, когда они оба выступали в Москве... Если бы зал понял, что происходит на самом деле — можно не сомневаться: в помещении театра тут же не осталось бы ни одного человека. Но никто ничего не понял — и в то же время все почувствовали: происходит что-то не то. Клюев явно внушал страх — и проще всего было обвинить его в “нарушении уважения к смерти”, в том, что он “не понимает человеческого языка”... Форш почувала, что Клюев действует “в одном ему внятном собственном праве”, но суть этого “права” осталась для неё за семью печатями...

Через много лет она хотела переиздать свой “Сумасшедший корабль” в 8-томном собрании сочинений. На этот замысел наложил своё вето Николай Тихонов — солидный советский сановник и депутат Верховного Совета СССР, обладающий и немалым авторитетом, и немалой властью. В письме к Форш от января 1961 года он популярно объяснил, почему выступил против переиздания этой вещи, указав на целый ряд “неудобств”. И главным “неудобством” послужил здесь именно Клюев, памятное выступление которого Тихонов также лицезрел в Большом драматическом театре и, видимо, долго не мог от него отойти. “Я читал, например, про Клюева, — писал Тихонов. — Ваши страницы эти не поддаются действию времени. Они точны самой строгой точностью — художественного припечатывания действительно бывшего... Но сегодня столько подымется на тень Клюева вопросов, что уж лучше пусть она себе покоится, где нашла приют”. Тихонов прекрасно знал, где именно душа Клюева нашла себе “приют”. И рука его не дрогнула, когда он выводил эти строки.

... Уже в 1988 году при переиздании “Сумасшедшего корабля” к нему было предпослано предисловие, автор которого — учёная дама, разделяя взгляд Ольги Форш на современных ей писателей — героев книги, охарактеризовала Клюева в полном соответствии со взглядом напуганных его современников и опасливых — наших, предпочитавших увидеть в нём что-нибудь по возможности удобное и не мешающее жить: “В духовную иступлённость Микулы, в его могучую корневую систему О. Форш вкладывает стихийную мощь мужицкого уклада, с которой рядом нет места цивилизации. В своей тысячелетней неподвижности она не хочет уступать места не только революционному настоящему, но, как показывает жизнь, не увядает и в будущем. В поисках духовного наставничества Клюева запутались многие умы молодой русской интеллигенции”... Тень Клюева встала во весь рост и, поистине, вместе с ней встала масса вопросов, на которые — хочешь — не хочешь — надо было отвечать. Но сплошь и рядом многие пытались не отвечать, а отходить в сторону, процеживая отдельные характеристики с использованием фразеологии Троцкого и Князева вместе взятых.

* * *

Одновременно с “Плачем о Сергее Есенине” в июле 1926 года Клюев пишет поэмы “Заозерье” и “Деревня”. По существу все эти вещи составляют единый триптих. Языческо-христианская славянская идиллия — в “Заозерье”,

где одухотворено каждое природное движение, и в то же время вся картина выписана словно тонкой кистью строгановского иконописца — со свойственной мастерам старой школы прозрачностью света и лёгкостью мазка. Люди и святые живут в едином мире, в полной гармонии и ладу — и в ладу с ними все явления природы и быта — и одно неотделимо от другого. Крестьянская ойкумена, та, что чаялась издавна в народных преданиях, та, за которой уходили в таинственное Беловодье русские мужики.

*На речке в венце сусальном
Купальница Аграфёна,
В лесах зарит огнепально
Дождевого Ильи икона.*

*Федосья-колосовица
С Медостом — богом овечьим —
Велят двуперстьем креститься
Детёнышам человечьим.*

.....
*Флору да Лавру работа —
Пасти табун во лесах,
Оттого мужичьи ворота
В смоляных рогатых крестах.*

Всё неторопливое действие поэмы — точнее, не действие, а саму жизнь в поэме сопровождает литургия, что служит отец Алексей: “бородка — прожелть тетерья, волосы — житный сноп”. За литургией незаметно сменяются времена года, и как кульминация — наступает Пасха. Воскресение Христово.

*Великие дни в деревне —
Журавиный плакучий звон,
По мёртвой снежной царевне
Церквушка правит канон.*

.....
*Христос воскрес из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И у елей в лапах простёртых
Венки из белых купав.*

*В зеленчатом сарафане
Слушает звон сосна.
Скоро в лужицу на поляне
Обмакнёт лапоток весна.*

*Запоют бубенцы по взгорью,
И, как прежде в тысячах дней,
Молебном в души Егорью
Задудит отец Алексей.*

Идиллия разрушается с гибелью поэта Руси — Сергея Есенина. Да, не на ту дорогу свернувшего, получившего своё “за грехи, за измену зыбке, запечный богам Медосту и Власу”, но великого поэта... И само обрушение русской жизни предстаёт воочию в поэме “Деревня”. Как смерть Настеньки — предвестие гибели керженских скитов, так смерть русского поэта — предвестие конца прежней жизни. Насколько идиллический тон в “Заозерье” — настолько он напряжён, рыкающ до срыва — в “Деревне”. Кажется, что весь деревенский люд от парней (схожих то с Буслаевым Васьюкой, то с Евпатием Коловратом) и девок (каждая, что Ефросинья Полоцкая, Ярославна или Евдокия, Дмитрия Донского суженая), до матерей — “трудниц наших”, до Бога, писанного “зографом Климом” — весь поднялся на защиту своего бытия от страшной современности, от полного её разброда и нестроения внутреннего. И рефрен воистину угрожающий:

*Будет, будет русское дело —
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметёт мужик бородою!*

Это, мнится, не слишком далеко ушло от пушкинского: “Добро, строитель чудотворный! Ужо тебе!..” Это “ужо тебе!” — сплошь и рядом от бессилия, от невозможности сопротивляться нашествию чумной новизны. Новая эпоха железа наступает — и скрыться от неё некуда.

*Ты, Рассея, Рассея-матка,
Чаровая заклятая кадка!
Что там, кровь или жемчуга,
Иль лысого чёрта рога?
Рогатиной иль каноном
Открыть наговорный чан?..
Мы расстались с саровским звоном —
Утолением плача и ран.
Мы новгородскому Никите
Оголили трухлявый срам, —
Отчего же на белой ракете
Не поют щеглы по утрам?*

Кажется, принесены все жертвы, какие только можно было принести, а облегчения не наступает. Меняется весь мир вокруг, замолкают птицы, деревья бегут со своих мест, “разодрав ноженьки в кровь”, при виде трактора, выехавшего на ниву, железного коня, с которым “от ковриг надломятся полки...” Да не хлебом ведь единым... Жизнь старая гибнет.

И не зря в “Деревне” трактор под стать паровозу из есенинского “Сорокоуста”... И не зря рефрен “Деревни” — “Ты Рассея, Рассея-тёща, насолила ты лихо во щи” — тут же переключается с “Рас. . . сеей” Есенина из “Москвы кабацкой”... Ведь вся Русь в богохулье ударилась, и сам Клюев в стороне не стоял — и никакие мотивы не послужат оправданием. Вот и ему, как и младшему собрату, “за грехи, за измену зыбке” — доводится увидеть крушение прежнего мира, где “от полавочных изголовий неслышно сказка ушла”... Одна надежда — вернётся, когда чаша Божьего гнева переполнится.

*Только будут, будут стократы
На Дону вишнёвые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только б месяц, рядясь в дымы,
На реке бродил по налимы
Да черёмухи в белой шали
Вечера, как девку, ласкали!*

* * *

Не единожды потом задавались читатели и исследователи вопросом: каким чудом “Заозерье” и “Деревня”, которую вполне можно было проинтерпретировать как политическую прокламацию, в тех условиях — вообще попали в печать, когда “Заозерье” было опубликовано в сборнике “Костёр”, а “Деревня” — в журнале “Звезда”?

Объяснение этому есть. И оно может показаться достаточно неожиданным.

Ещё при Зиновьеве, с помощью Ионова, Клюев начал печататься с осени 1925 года в “Красной газете”. Ионов буквально “выжимал” из него “новые песни” — “волчий брех и вороний грай”, как написал Николай. Он взялся-таки за “советскую тематику”, но не брехал и не граял. Он нашёл единственный и самый точный ход — “новые песни” пелись от имени нового поколения, той молодёжи, что вошла в жизнь с Октябрём — и иной жизни себе не представляла.

В результате его стихи, насыщенные реалиями новой жизни, обретали куда более полную интонационную завершенность и смысловую убедительность, чем километры виршей на ту же тему множества пролетарских и комсомольских поэтов. Даром поэтического перевоплощения Клюев владел, как мало кто.

*Моя родная богатырка —
Сестра в досуге и в борьбе,
Недаром огненная стирка
Прошла булатом по тебе!*

*Стирал тебя Колчак в Сибири
Братоубийственным штыком,
И голод на поволжской шире
Костлявым гладил утюгом.*
.....

*Ты мой чумазый осьмилеток,
Пропахший потом боевым.
Тебе венок из лучших веток
Плетут Вайгач и тёплый Крым.*

*Мне двадцать пять, крут подбородок
И бровь моздокских ямщиков,
Гнездится красный зимородок
Под карим бархатом усов.*

Эти стихи ещё вязались интонационно и тематически с его прежними выступлениями с прославлением “красных орлов”. Но Клюев шёл ещё дальше. Он пел от имени пролетария — классическим пушкинским ямбом и пушкинскими же словами.

*Друзья, прибой гудит в бокалах
За трудовые хлеб и соль,
Пускай уйдёт старуха-боль
В своих дырявых покрывалах...
Друзья, прибой гудит в бокалах!*

*Наш труд — широкоплечий брат
Украсил пир простой гвоздикой,
Чтоб в нашей радости великой,
Как знамя, рдел октябрьский сад...
Наш труд — широкоплечий брат!*

И всё это Клюев печатал в “Красной газете” — вместе с “Железом”, перепечатанным из “Львиного хлеба”. Кажется, ни у одного поэта того времени нет столь взаимоисключающих друг друга публикаций на страницах одной и той же газеты.

После свержения Зиновьева и воцарения в Ленинграде Кирова главным редактором “Красной газеты” и ближайшим соратником нового секретаря стал Пётр Иванович Чагин (с Кировым они были в одной “связке” ещё в Баку). Чагин рассчитывал стать надёжной опорой собиравшегося переехать в Северную Пальмиру на постоянное место жительства Сергея Есенина. И Киров, по его воспоминаниям, собирался взять над Сергеем “шефство”, точнее, продолжить его, начавшееся всё в том же Баку... Свершившаяся трагедия была для них настоящим ударом. Не успели...

Чагин знал о Клюеве, как о друге и учителе Есенина. Нет ни малейших оснований говорить, что он, убеждённый коммунист, хоть в малейшей степени разделял идеи Клюева. Но судьба распорядилась так, что ближайший есенинский друг, тем паче пишущий и печатающий “новые песни”, оказался под его покровительством. И Чагин дал Клюеву своеобразный “карт-бланш” — ленин-

градские газеты, журналы, сборники в эти два года принимали практически всё, что выходило из-под клюевского пера. Приобрёл такую известность, как полноправный советский поэт, что напечатался даже у Воронского в “Прожекторе”. Памятуя о его словах, что ему, редактору, нужны “рыжие”, которые ломались бы в его цирке бесплатно, Николай поднёс горькую пилюлю, которую Воронский ничтоже сумняшеся проглотил. В цикле “Новые песни” вторым шло стихотворение, написанное от имени “кузнеца Вавилы” (одно из любимых клюевских мужских имён). Запев – лучше некуда, все “комсомольцы” и “пролетарии” обзавидуясь.

*По мозольной блузе
Всяк дознать охоч:
Сын-красавец в вузе,
В комсомоле дочь.*

*Младший пионером —
Красногубый мак...
Дедам-староверам
Лапти да армяк.*

*Ленинцам негожи
Посох и брада,
Выбродили дрожжи
Вольного труда.*

“В художнике, как в лицемере, таятся тысячи личин...” — напишет он позже. Здесь он поворачивался к своим “работодателям” одной из личин, “закладывая” в текст смысловую и звуковую ассоциацию с рефреном из “Кому на Руси жить хорошо” Некрасова, что отчётливо придавало стихотворению пародийный привкус. Но подлинный смысл приоткрывался в финальной строфе:

*И над всем, что мило
Ярому вождю,
Я — кузнец Вавила —
С молотом стою.*

...В 1977 году это стихотворение вошло в том стихотворений и поэм Клюева, изданный в Малой серии Библиотеки поэта. То была первая его книга, вышедшая в свет в СССР почти за полвека. Но уже на следующий год, когда готовилось переиздание в издательстве “Советская Россия”, редакторы безоговорочно и с каким-то суеверным страхом вышвырнули эту “новую песнь” из сборника. Досмотрелись...

Этой счастливой в творческом отношении жизни Клюеву хватило ненадолго. Ровно до публикации поэмы “Деревня” в журнале “Звезда” и выхода отдельным изданием в “Прибое” “Плача о Сергее Есенине”.

(Продолжение следует)